



СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ

ДЕПРЕССИЯ - ДАР
ПУСТОТЫ

Сергей Патрушев

Депрессия - Дар Пустоты

<https://litres.ru/74352424>

SelfPub; 2026

Аннотация

Дмитрий существует, но не живёт. После ухода возлюбленной Анны его мир стал серым, а душа — пустой, как выгоревший дом. В отчаянной попытке избавиться от боли он приходит к древнему Алтарю Забвения и просит не силу, а забвение. Алтарь отвечает иначе: сознание Дмитрия взламывается, и он начинает слышать «эхо» эмоций всех людей в радиусе мили. Чужая боль, страхи и желания обрушиваются на него, едва не сводя с ума.

Теперь его дар — проклятие и единственный шанс. Он не просто чувствует эмоции, он может превращать их в осязаемые иллюзии, показывая людям их самые сокровенные мечты и самые тёмные кошмары. Тайная служба «Орден Ищеек» предлагает ему сделку: работа консультантом по делам, где улики молчат или казематы. Первое задание — убийство герцога, загадочное настолько, что даже магия не находит следов.

Содержание

Глава 1. Пустота	4
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Сергей Патрушев

Депрессия - Дар Пустоты

Глава 1. Пустота

Дождь закончился ещё до рассвета, но город так и не просох. Влага висела в воздухе, оседала на каменных стенах, пропитывала одежду и, казалось, проникала под самую кожу, смешиваясь там с той вечной сыростью, что давно поселилась в костях. Дмитрий шел по мостовой, и его шаги звучали глухо, словно он ступал не по твердому булыжнику, а по толстому слою мокрого пепла. Каждый шаг отдавался в груди тупым эхом, как будто сама земля нехотя принимала его вес, спрашивая: зачем ты идешь, зачем ты вообще еще двигаешься, если внутри тебя давно уже все остановилось? Он не знал ответа. Вернее, знал, но этот ответ был таким же серым и бессмысленным, как и все вокруг. Он шел, потому что не мог не идти. Потому что остановиться значило бы признать, что он окончательно проиграл, а на это у него не осталось даже сил.

Город, который он когда-то знал, город, который он охранял, стоя на крепостной стене в ледяные зимние ночи, город,

который он потом описывал в бесконечных реестрах, пересчитывая каждую бочку сельди и каждый мешок зерна, теперь был для него лишь лабиринтом из серых фасадов, уходящих в такое же серое, низкое небо. Дома из потемневшего от сырости камня теснились друг к другу, как старые, измученные жизнью люди, ищущие тепла и не находящие его. Из печных труб поднимались тонкие, вялые струйки дыма, которые тут же растворялись в промозглom воздухе, не в силах подняться выше. Окна, затянутые мутной слюдой или забранные деревянными ставнями, смотрели на улицу слепыми, равнодушными глазами. Этот город, как и сам Дмитрий, существовал, а не жил. Он дышал, но каждый вздох давался ему с трудом, как больному старику, доживающему последние дни. И в этом было странное, горькое родство. Дмитрий чувствовал, что он и этот город — одно целое. Два пустых сосуда, из которых давно вылили все содержимое.

Цвета ушли из мира в тот день, когда ушла Анна. Сначала — яркие, кричащие: лазурь ее платья, золото ее волос, алый румянец на щеках, когда она смеялась над его неуклюжими комплиментами. Эти цвета погасли сразу, в один миг, как гаснут свечи, задутые резким порывом ветра, оставив после себя лишь черноту и едкий запах дыма. А потом, медленно, неотвратно, как умирает свет заката, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но его последние, багровые отблески еще цепляются за облака, начали тускнеть и все осталь-

ные оттенки. Зелень деревьев стала серой. Синева неба — пепельной. Даже кровь на разбитой губе, которую он видел в зеркале после одной из тех ночей, когда напивался до беспамятства, казалась ему не алой, а какой-то буро-коричневой, как старая ржавчина. Мир превратился в бесконечную, плоскую гравюру, выполненную в тонах золы, свинца и сырой земли. И в этой гравюре не было места ни надежде, ни радости, ни даже простому человеческому теплу.

Он помнил тот день до мельчайших подробностей, хотя прошло уже, наверное, полгода. Или год. Время в его состоянии текло странно, то растягиваясь в бесконечность, то сжимаясь в один невыносимо долгий миг. Он помнил, как вернулся домой после долгой смены в канцелярии. Помнил, как открыл дверь и сразу понял, что что-то не так. Не было запаха еды, который Анна обычно готовила к его приходу. Не было ее тихого напевания, которое он слышал еще с лестницы. Была только тишина. Та самая тишина, которая теперь стала его постоянным спутником. И записка на столе. Маленький, небрежно вырванный из какой-то тетради клочок бумаги. «Прости, я больше не могу». Всего пять слов. Пять слов, которые перечеркнули всю его жизнь.

Он не винил ее. В этом-то и была самая страшная мука. Он понимал, почему она ушла. Он сам стал невыносим. Его работа писаря, на которую он перешел после травмы,

полученной при задержании контрабандистов, высасывала из него все соки. Он приходил домой выжатым, как лимон, пустым, как выеденная изнутри раковина. Он перестал смеяться, перестал разговаривать, перестал замечать ее. Он жил в каком-то полумраке, механически выполняя свои обязанности, механически принимая пищу, механически ложась спать. Анна пыталась достучаться до него. Она устраивала ужины при свечах, таскала его в театр, читала ему вслух книги. Но он был глух. Не потому что не хотел ее слышать, а потому что уже не мог. Его душа, его внутренний слух, его способность чувствовать — все это атрофировалось, как мышцы у человека, прикованного к постели. Он стал живым мертвецом, и она, в конце концов, не выдержала соседства с трупом. Она ушла, чтобы спасти себя. И он не мог ее за это осудить.

Но от этого понимания было не легче. Наоборот, оно делало боль еще острее. Потому что винить он мог только себя. И он винил. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Он прокручивал в голове их последние разговоры, искал момент, когда все пошло не так, и находил десятки таких моментов. Вот он отмахнулся от ее вопроса. Вот он забыл про годовщину. Вот он промолчал, когда она плакала. Каждое воспоминание было как удар ножом, но он не отворачивался. Он смотрел прямо на лезвие и даже слегка наклонялся вперед, чтобы удар пришелся точнее. Это была его епитимья,

его самобичевание, его способ хоть как-то наказать себя за то, что он разрушил единственное хорошее, что у него было.

Люди, попадавшие ему навстречу, — разносчики с тележками, нагруженными подгнившими овощами и черствым хлебом, торопливые приказчики с восковыми лицами и бегающими глазами, женщины, кутающиеся в шали так, словно хотели спрятаться от всего мира, — скользили по нему равнодушными взглядами. Они не узнавали его. Да он и сам себя не узнавал бы. Когда-то он был Дмитрием, Дима, стражником с прямой спиной и ясным взглядом, чья твердая рука и спокойный голос внушали если не уважение, то уверенность. Он был тем, к кому подходили за помощью, тем, кто мог разнять дерущихся пьяниц и успокоить испуганного ребенка. Он был надежным. И это слово, как он теперь понимал, было лучшей характеристикой, о которой только можно мечтать. Потом его перевели в писцы — знание грамоты и умение логически мыслить ценились в городской канцелярии выше, чем умение махать мечом. И он стал Дмитрием-писарем, аккуратным и дотошным, который глох над пергаменами, пересчитывая налоги и записывая жалобы. Эта работа не приносила ему радости, но давала ощущение нужности, а это было важно. Тогда было важно. Теперь же не осталось ничего. Просто оболочка. Пустой футляр, из которого вынули самую суть — цель. Осталась лишь боль, но и она со временем притупилась, превратившись в тупую, ною-

щую пустоту, разлитую в груди, как холодная ртуть.

Он сам не знал, зачем идет сюда. Эта мысль, как заноза, сидела где-то на периферии сознания, но он не давал ей оформиться в нечто конкретное. Ноги несли его, а разум, уставший от бесконечного самоанализа, просто следовал за ними, как послушный пес. Алтарь Забвения. Место, куда, по слухам, стекались отчаявшиеся. Место, о котором шептались в тавернах, но о котором не говорили в приличных домах. Место, которое вызывало у одних суеверный страх, у других — скептическую усмешку, а у третьих — тайную, стыдливую надежду. Древние камни, помнящие, как говорили, времена, когда сами боги ходили по земле, когда реки текли молоком, а деревья плодоносили круглый год. Одни верили, что там можно избавиться от боли, просто оставив ее у подножия, как старую, изношенную одежду, которую жалко выбросить, но и носить уже невозможно. Другие — что там можно отдать саму память, а вместе с ней и сердце, и тогда наступит блаженное небытие, вечный сон без сновидений. Третьи и вовсе утверждали, что Алтарь — это врата, и те, кто проходит через них, обретают силу, о которой простые смертные не смеют и мечтать. Дмитрий не верил ни во что. Ни в богов, ни в демонов, ни в силу древних реликвий. Вера — это чувство, а он уже давно ничего не чувствовал. Вера — это надежда, а надежда умерла в нем в тот самый день, когда он прочитал записку Анны. Но оставалась

привычка. Привычка что-то делать, когда не знаешь, что делать. Привычка двигаться, даже когда не видишь смысла в движении. Он шел к Алтарю, как ходят на могилу к близкому человеку, понимая, что это не вернет его к жизни, но все равно повинаясь неумолимому ритуалу, заложенному где-то глубоко в подкорке.

Тропа, ведущая за городскую черту, становилась все уже и разбитее. Булыжник сменился утоптанной глиной, перемешанной с прелыми листьями, а та — едва заметной тропинкой, петляющей среди одичавших зарослей. Дома, сначала просто бедные и кривоватые, постепенно превращались в развалины, а затем и вовсе исчезли, уступив место покосившимся заборам и заросшим сорняками пустырям. Воздух здесь был другим. Он был тяжелее, гуще, словно пропитанный какой-то древней, застоявшейся печалью. Даже звуки города — крики торговцев, скрип телег, лай собак — доносились сюда приглушенными, искаженными, как будто проходили через толстый слой ваты. Дмитрий шел, и ему казалось, что он спускается не по тропе, а по спирали, все глубже и глубже погружаясь в какое-то особое, отделенное от остального мира пространство. Ветви одичавших яблонь и груш тянулись к нему, как скрюченные пальцы нищих, цеплялись за плащ, оставляли на ткани мокрые следы, похожие на слезы. Где-то в стороне, за плотной стеной кустарника, журчала вода — должно быть, там протекал ручей, превративший-

ся после дождей в бурный поток. Но журчание это было каким-то тревожным, неровным, как сбивчивое дыхание.

Наконец, впереди показался холм, поросший колючим кустарником и жесткой, пожухлой травой. И на его вершине — неровный круг из черных, будто оплавленных, мегалитов. Эти камни, каждый высотой в два человеческих роста, стояли не вертикально, а под странными, пугающими углами, как будто их вонзили в землю неведомые силы, а потом время и непогода искривили их, согнули, сломали. Поверхность камней была покрыта глубокими трещинами и бороздами, в которых скапливалась дождевая вода, поблескивающая в скудном свете, как жидкая ртуть. Алтарь представлял собой не величественное строение, а грубый, низкий камень, установленный в центре круга, с выбитым на его поверхности желобом для... чего-то. Для жертвоприношений? Для вина? Для слез? Дмитрий не знал. Он впервые был здесь так близко.

У подножия холма стояла тишина, но наверху, среди камней, эта тишина сгущалась, становилась физически ощутимой, давила на уши, как толща воды. Не пели птицы, не стрекотали насекомые. Даже ветер, казалось, обходил это место стороной, боясь потревожить покой древних гигантов. Воздух здесь был неподвижен, холоден и тяжел, как вода в глубоком колодце. Дмитрий ступил в круг, и его шаги по утрам-

бованной, мертвой земле прозвучали неестественно громко. Звук этот был каким-то плоским, сухим, лишенным эха, словно сама земля отказывалась его отражать. Он остановился перед Алтарем. Камень был холодным. Он не излучал ни силы, ни древней магии, ни проклятия. Просто камень. И это было самым страшным. Он пришел сюда в надежде... на что? Он и сам не мог сформулировать. На вспышку, на чудо, на какое-то знамение, которое разбило бы его апатию, встряхнуло бы его, заставило бы снова почувствовать. Пусть даже боль, пусть даже отчаяние, но хоть что-то. Хоть какой-то знак, что мир не окончательно оглох и ослеп, что в нем еще есть место для чего-то, кроме этой бесконечной, всепоглощающей серости. Но перед ним был лишь мертвый камень, такой же пустой изнутри, как и он сам.

Дмитрий опустился на колени прямо в холодную, сырую землю. Его колени тут же промокли, но он не обратил на это внимания. Физический дискомфорт был для него чем-то далеким, почти нереальным, как боль, которую испытывает человек под действием сильного обезболивающего. Он не молился. Он не знал, к кому и как обращаться. Все молитвы, которые он когда-либо слышал, казались ему пустыми, заученными фразами, лишенными искренности. Он просто смотрел на шершавую поверхность Алтаря и думал о ней. Об Анне. Не о той Анне, что ушла, собрав вещи и оставив на столе короткую записку, а о той, что была до этого. О той, что

смеялась, запрокидывая голову, когда он читал ей дурацкие стихи из дешевых сборников, купленных у уличных торговцев. О той, что клала свою маленькую ладонь в его широкую ладонь, и их пальцы переплетались, как виноградные лозы. О той, чей голос по утрам был для него лучшим лекарством от всех невзгод, чей запах — смесь лаванды и свежего хлеба — он мог бы узнать из тысячи. Он думал о ней, и боль, которая, как он думал, превратилась в тупое ничто, вдруг ожила. Она не пронзила его кинжалом, нет. Она стала разрастаться изнутри, как ледяной цветок, распуская свои острые лепестки в легких, в сердце, в горле. Он не мог дышать. Каждый вдох давался с трудом, как будто воздух стал вязким, превратился в кисель. Он закрыл глаза.

— Забери это, — прошептал он, не узнавая собственного голоса. Хриплый, сломанный шепот, который вырвался из его горла, как воздух из пробитого кузнечного меха. — Прошу. Забери эту боль. Забери воспоминания. Забери меня всего, если нужно. Я не хочу больше существовать. Я хочу либо жить, либо умереть. Но не так. Не в этой... пустоте.

Его голос сорвался, и последнее слово утонуло в давящей тишине. Он стоял так, на коленях, с закрытыми глазами, ожидая... чего? Он не знал. Возможно, удара молнии. Возможно, райского пения. Возможно, ледяного прикосновения смерти. Возможно, хотя бы какого-то шороха, како-

го-то знака, что его слышали. Но ничего не произошло. Тишина. Глухая, всепоглощающая, насмехающаяся над его жалким порывом. Мир оставался таким же равнодушным, как и прежде. Алтарь молчал. Камни молчали. Небо молчало. Дмитрий глубоко вздохнул, чувствуя, как ледяной цветок в груди сжимается в тугой, болезненный ком, и начал медленно подниматься. Он чувствовал себя дураком. Последним, отчаявшимся дураком, который притащился на край света, чтобы поговорить с камнем. Что он себе вообразил? Что древние боги снизойдут до него? Что камень оживет и заговорит? Какая глупость. Какая невыносимая, унижительная глупость.

И в этот момент мир треснул.

Это не было звуком, нет. Это было похоже на то, как если бы полотно реальности, на котором нарисован этот серый холм, эти черные камни, это бесконечное небо, вдруг разорвалось где-то за его спиной. Дмитрий не слышал этого, но почувствовал — всем своим существом, каждой клеткой, каждым нервом. Это было похоже на то, как если бы в душевной, герметично закрытой комнате внезапно распахнули окно, и в него ворвался ураганный ветер. И в эту трещину, расширяясь и набирая мощь, хлынул поток. Не вода, не огонь, не воздух. Поток чистого, концентрированного чувства. Чужого. Дмитрий пошатнулся, рефлекторно вскинув руки к го-

лове, но это не помогло. Оно не шло через уши или глаза. Оно проникало отовсюду сразу, вплавляясь в его сознание, как раскаленный металл в воск.

Сначала это было похоже на оглушительный рев толпы. Нескладный, хаотичный, сводящий с ума. Гнев. Резкий, обжигающий, застилающий глаза красной пеленой. Он принадлежал старику-ростовщику, который прямо сейчас, в своей лавке в двух кварталах отсюда, смотрел на разбитую вазу. Вазу из синего стекла, привезенную из-за моря, стоившую целое состояние. Вазу, которую он так любил, которой так гордился. И этот гнев тут же сменился страхом. Липким, холодным, от которого сводит живот. Страх молодой служанки, которая эту вазу разбила и теперь ждала наказания. Дмитрий видел ее — худенькую девчонку с огромными, полными слез глазами, прижавшуюся к стене, втянувшую голову в плечи, ожидающую удара. И он чувствовал ее страх. Не просто понимал, а именно чувствовал — как волну холода, прокатывающуюся по спине, как дрожь в коленях, как тошноту, подкатывающую к горлу. Крики, мольбы, ругательства — все это ворвалось в голову Дмитрия одновременной какофонией, в которой он не мог различить ни одного отдельного голоса. Это был хаос. Первозданный, всепоглощающий хаос чужих эмоций.

Он рухнул на колени, хватая ртом воздух. Перед глазами

все плыло, реальность искривлялась, как отражение в кривом зеркале. Он видел не только серые камни Алтаря. Он видел внутренности домов, лица людей, искаженные гримасами эмоций, сцены их жизни, проносящиеся перед ним, как картинки в калейдоскопе. Вот купец, пересчитывающий монеты, и его жадность — липкая, сладковатая, отдающая медью. Вот жена, наблюдающая за мужем, который пялится на проходящую мимо молодку, и ее ревность — жгучая, едкая, как кислота. Вот ребенок, получивший в подарок деревянную лошадку, и его радость — чистая, звенящая, как колокольчик. И поверх всего этого — бесконечный, удушающий, как плотный туман, страх. Страх перед будущим, страх перед властями, страх перед болезнью, страх перед голодом, страх перед одиночеством. Город, весь город в радиусе мили, извергал из себя свои чувства, и все они вливались в Дмитрия, как в пустой, предназначенный именно для этого сосуд.

Он закричал. Вернее, попытался закричать, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Он обхватил голову руками, пытаясь сжать ее, чтобы она лопнула, лишь бы это прекратилось. Чужие эмоции терзали его, разрывали на части, смешивались в его собственном сознании, порождая невообразимый хаос. Гнев ростовщика смешался с ужасом служанки, и эта гремучая смесь взорвалась в нем, заставляя сердце биться в бешеном ритме. Радость ребенка впилась в тоску вдовы, и этот контраст был настолько мучителен, что из глаз

Дмитрия брызнули слезы. Он не знал, кто он. Он не знал, где он. Он был лишь точкой, в которую сошлись миллионы чужих жизней, чужих болей, чужих желаний. Он умирал. Не физически, нет. Его «я», его личность, его собственная, выстрадавшая пустота растворялась в этом безумном потоке, как песчинка в океане шторма. Он переставал быть Дмитрием. Он становился всем и ничем одновременно. Он был стариком, оплакивающим свою разбитую вазу. Он был девочкой, дрожащей от страха. Он был купцом, предвкушающим барыш. Он был женой, терзаемой ревностью. Он был всеми. И это было невыносимо.

Паника захлестнула его с головой. Он перестал понимать, где верх, где низ, где его руки, а где ноги. Он был лишь агонизирующим сгустком нервов, по которому проносились разряды чужой энергии. Он чувствовал тошноту, подступающую к горлу, но даже это ощущение было не его, а какого-то пьяницы, которого выворачивало наизнанку в подворотне. Он чувствовал острую боль в боку — это у какого-то подмастерья лопнул старый шрам. Он чувствовал щекотку — это молодая мать играла со своим младенцем. Все эти ощущения накладывались друг на друга, смешивались, создавая невообразимую, сводящую с ума какофонию. Дмитрий цеплялся за сознание, как утопающий цепляется за обломок мачты, но волны чужих эмоций разбивали его пальцы, утягивая все глубже в пучину безумия.

«Стоп!» — мысль, пронзившая хаос, как луч света. «Остановись!» — приказал он себе. И в этом приказе было столько отчаяния, столько последней, животной воли к выживанию, что на один краткий миг поток ослабил свою хватку. Дмитрий не мог его остановить, но он мог попытаться управлять им. Он не мог заткнуть уши, но он мог попытаться расслышать в этом хоре один-единственный голос. Как в шумной таверне, где кричат десятки людей, можно вдруг услышать слова собеседника, сидящего напротив, если сосредоточиться на его губах, на его голосе, на его дыхании. Дмитрий должен был найти в этом океане крика островок тишины. Должен был. Иначе — безумие.

Он перестал бороться с течением. Он заставил себя расслабиться, перестать цепляться за собственное «я» и просто... слушать. Это было самое трудное решение в его жизни. Отказаться от сопротивления, отдать себя потоку, позволить ему нести себя, как щепку, надеясь, что течение вынесет его к спокойной воде, а не разобьет о скалы. И постепенно, сквозь рев и какофонию, он начал улавливать отдельные ноты. Он старался отфильтровать грубые, яркие, кричащие эмоции — гнев, страх, похоть, жадность. Они были самыми сильными, но и самыми пустыми. Они оглушали, но не несли в себе никакой глубины. Они были как удары молота по наковальне — громкие, но лишённые смысла. Он искал что-

то тихое. Что-то, что не кричало, а шептало. Что-то, что не требовало немедленного действия, а просто существовало, разлитое во времени, как запах старых книг в библиотеке. Он искал что-то созвучное его собственной боли. Что-то, что отозвалось бы в его пустоте, как эхо в пустом зале.

И он нашел это.

Это была не мысль. Это было ощущение. Тихая, глубокая, как омут, печаль. Она была настолько спокойной и всеобъемлющей, что казалась не просто эмоцией, а самым состоянием бытия. Она не металась, не кричала, не требовала. Она просто была, разлитая в пространстве, как тихий свет луны, просачивающийся сквозь облака. Это была скорбь человека, который не рвет на себе волосы и не бьется в истерику, а просто несет свою ношу, день за днем, год за годом, уже не надеясь на избавление. В ней не было надежды. Не было отчаяния. В ней была только... усталость. Такая же глубокая и бесконечная, как и та пустота, что Дмитрий носил в себе. Эта печаль не была острой, не была жгучей. Она была старой, застарелой, как боль в давно сросшемся переломе, которая напоминает о себе только в сырую погоду. Но именно в этой ее тихости, в ее смирении, в ее покорности судьбе было что-то невероятно притягательное. Дмитрий почувствовал родство с этой печалью. Как будто он нашел кого-то, кто говорил на том же языке боли, что и он сам.

Он ухватился за эту тихую печаль, как за якорь. Он сосредоточился на ней, пытаясь понять, откуда она исходит, кто ее носитель. Остальной шум начал постепенно отступать. Он не исчез совсем, но стал фоном, приглушенным гулом, похожим на шум далекого прибоя. А тихая печаль, наоборот, становилась все отчетливее. Он видел ее. Не глазами, но каким-то внутренним зрением, которое открылось в нем, как третий глаз. Он видел тусклый свет сальной свечи, дрожащий на сквозняке. Руки, сложенные на коленях, — морщинистые, с набухшими венами, с обкусанными ногтями. Морщины, избороздившие лицо, — глубокие, как русла пересохших рек. И глаза, полные невыплаканных слез. Такие глаза бывают у людей, которые выплакали все слезы, какие у них были, и теперь смотрят на мир с тихой, всепонимающей грустью.

Женщина. Пожилая женщина, сидящая у окна в маленькой, бедно обставленной комнате. Дмитрий видел эту комнату так ясно, как будто сам находился в ней. Голые стены, покрытые пятнами сырости. Узкая кровать с грубым шерстяным одеялом. Деревянный стол, на котором стоит глиняная кружка с остывшим травяным отваром. И окно, большое, занимающее почти всю стену, выходящее на серую, мокрую улицу. Она сидела на стуле у этого окна, смотрела на серые дома, на прохожих, но ее взгляд был обращен внутрь себя.

Она не видела улицы. Она видела свою жизнь, проплывающую перед ее мысленным взором, как отражение в мутной воде. Она вспоминала. Вспоминала молодость, когда трава была зеленее, а небо — синее. Вспоминала смех — свой собственный, звонкий, беззаботный. Вспоминала весеннее солнце, которое пригревало так ласково, что хотелось петь. Вспоминала мужа, который ушел на войну и не вернулся. Его лицо, его руки, его голос. Она помнила все это с такой ясностью, как будто это было вчера. Вспоминала сына, который уехал в столицу и не пишет уже три года. Вспоминала, как он, еще мальчишкой, обещал забрать ее к себе, когда разбогатеет. Вспоминала дочь, которая умерла от лихорадки двадцать лет назад. Ее маленькое личико, ее слабый голосок, ее последний, едва слышный вздох. Ее жизнь была чередой потерь, и единственное, что у нее осталось, — это ее тихая, застарелая печаль, которая стала для нее чем-то вроде привычного, почти родного одеяла. Она не жаловалась. Она просто сидела и ждала. Чего? Смерти? Избавления? Возвращения сына? Она не знала. Да и не важно это было. Важно было только то, что она чувствовала. И это чувство, тихое, глубокое, всеобъемлющее, было сейчас единственным, что удерживало Дмитрия от падения в бездну безумия.

Дмитрий чувствовал эту женщину. Он чувствовал ее тоску по дочери, такую острую, что хотелось выть, но притупившуюся за двадцать лет, как лезвие старого ножа. Он чувство-

вал ее беспокойство за сына, которое она гнала от себя, боясь накликать беду. Он чувствовал ее одиночество, такое полное и безграничное, что оно было сродни его собственному. И на фоне этого одиночества его боль по Анне показалась ему... нет, не меньше. Не меньше. Но понятнее. Он вдруг увидел, что не один в своем страдании. Что через эту боль проходят все. Что каждый человек, идущий по улице, несет в себе свою собственную, сокровенную рану. И это понимание, как ни странно, принесло ему первое, едва заметное облегчение. Как будто он, сам того не желая, разделил свою ношу с кем-то другим. Или, наоборот, взял на себя часть чужой ноши. В этом было что-то пугающее, но в этом же было и что-то освобождающее.

Поток чужих эмоций, все это время терзавший его, начал замедляться. Он все еще ощущал его, как холодное течение у своих ног, но оно больше не захлестывало его с головой. Дмитрий смог, наконец, открыть глаза. Он все еще стоял на коленях перед Алтарем. Камни вокруг него были теми же черными, мертвыми глыбами. Серое небо висело над головой. Но мир изменился. Он снова обрел объем, но не цвет. На смену гравюре пришла... карта. Живая, пульсирующая карта эмоционального ландшафта города. Он все еще чувствовал его. Всех его обитателей. Их радости, их тревоги, их мелкие страхи и великие надежды. Это было похоже на то, как если бы ему в голову вставили сложный прибор, улавли-

вающий малейшие колебания человеческих душ. И с его помощью он мог видеть то, что скрыто от глаз остальных. Он мог видеть невидимое. Слышать неслышимое. И это знание, это новое чувство, пугало его до дрожи. Но в то же время оно давало ему нечто, чего у него не было уже очень давно. Оно давало ему цель. Пока еще смутную, неоформленную, но все же цель. Понять, что с ним произошло. Научиться управлять этим даром. Или проклятием. И, возможно, найти способ избавиться от него.

Он медленно, неуверенно поднялся на ноги. Голова кружилась, но это была уже не паника, а лишь легкое головокружение после пережитого шторма. Тело слушалось плохо, мышцы дрожали от напряжения, как будто он только что пробежал несколько миль. Он сделал шаг, и его качнуло. Он знал, что в городе, в трех улицах к северу, сейчас ссорятся супруги, и их взаимное раздражение он ощущал как горьковатый привкус во рту. Он знал, что в порту пьяный матрос бьет кулаком по стене таверны, и его отчаяние отзывалось тупой болью в костяшках пальцев. Он знал, что в богатом особняке на холме девушка пишет любовное письмо, и ее сладкое, трепетное волнение отдавалось в груди, как порхание бабочек. Он знал все. И это знание было невыносимым. Но он также знал, что может это контролировать. Сфокусировавшись на тихой печали старухи, он создал барьер, который приглушал остальной шум. Он понял, что ключ к вы-

живанию с этим даром (или проклятием, как это правильно назвать?) — в избирательности. В умении слушать одного, не слыша тысячи. В умении чувствовать чужую боль, не растворяясь в ней. Это будет трудно. Очень трудно. Но это возможно. Он уже сделал первый шаг. Он нашел свой якорь. Теперь нужно было научиться не терять его.

Дмитрий глубоко вздохнул. Холодный, влажный воздух наполнил легкие. Он пах прелой листвой, мокрой землей и чем-то еще, чем-то древним и тревожным. Он посмотрел на Алтарь. Все тот же мертвый камень. Ни свечения, ни знамения. Только теперь он знал, что его молитва была услышана. Не богами, нет. Чем-то более древним и безразличным. Он просил избавления от боли, а получил способность чувствовать боль всех остальных. Он просил пустоту, а ему дали переполненность. Его собственная пустота никуда не делась. Она все еще была там, в глубине его существа, как бездонный колодец. Но теперь он, парадоксальным образом, стал тем сосудом, который мог вместить в себя страдания всего города. Ирония судьбы. Злая, беспощадная ирония.

Он спустился с холма. Колючие кусты цеплялись за его плащ, но он не замечал. Его шаги были так же глухи, но в них появилась какая-то новая, неуверенная твердость. Он возвращался в город, который теперь знал о нем все, в то время как он сам не знал о нем ничего. Он шел и слушал. Слушал

эхо чужих жизней. И впервые за долгое время в его груди, рядом с холодной пустотой, шевельнулось что-то, отдаленно похожее на интерес. Или на страх. Или на то и другое сразу. Но это было чувство. И оно принадлежало ему. Его собственное чувство. Не заимствованное, не пришедшее извне, а рожденное где-то глубоко внутри, в том самом колодце, который он считал мертвым. Это было похоже на первый робкий росток, пробивающийся сквозь толщу мертвой земли. Хрупкий, слабый, но живой. Дмитрий почти забыл, что такое чувствовать. И теперь, когда это ощущение вернулось, он испугался. Испугался, что оно снова исчезнет. Испугался, что не сможет его удержать. Но оно не исчезало. Оно пульсировало где-то в груди, как второе сердце, напоминая о том, что он еще не окончательно мертв.

Он шел по мокрым улицам, и город раскрывался перед ним, как книга, написанная на языке, который он только начал понимать. Каждый прохожий был не просто фигурой, а целым миром, полным криков и шепота. Миром, в котором кипели страсти, разбивались сердца, рождались надежды и умирали мечты. И Дмитрий, бывший стражник, бывший писарь, а ныне — человек, взломавший собственную душу, шел сквозь эту бурю, стараясь не утонуть. Он искал не избавления. Теперь он искал ответ на вопрос, который еще не успел сформулировать. Он искал источник того тихого, спокойного отчаяния, которое стало его спасением. Он искал

старуху у окна. Возможно, она была единственной, кто мог понять, что с ним произошло. А, возможно, она была просто первой зацепкой в этом новом, пугающем мире чувств, где он был и гостем, и узником. Но он должен был ее найти. Просто потому, что она была его единственной ниточкой, связывающей его с реальностью. Его якорем. Его компасом в этом океане чужих эмоций.

Дождь начался снова. Мелкий, противный, он сыпал с неба, как мелкая крупа, застилая улицы полупрозрачной пеленой. Дмитрий поднял воротник плаща и ускорил шаг. Капли барабанили по капюшону, стекали по лицу, но он не обращал на них внимания. Его сознание, все еще дрожащее после пережитого, было настроено на волну тихой печали. Он шел, ведомый этим чувством, как моряк, ведомый лучом маяка. Он не знал, что ждет его впереди. Но он знал, что назад дороги нет. Древний Алтарь, получивший его просьбу, дал ему ответ. И этот ответ был гораздо страшнее и сложнее, чем все, что Дмитрий мог себе вообразить. Он просил забвения. А получил — эхо. И это эхо теперь будет звучать в нем, не умолкая, до самого конца. Это было его проклятие. И, возможно, его шанс на искупление.

Где-то вдалеке, на самой границе его нового восприятия, раздался приглушенный, полный ужаса вскрик. И тут же оборвался, словно человеку заткнули рот. Дмитрий оста-

новился как вкопанный. Его сердце, до этого бившееся в спокойном, почти умиротворенном ритме, пропустило удар. Этот вскрик был другим. В нем не было привычной палитры повседневных тревог. В нем не было ни гнева, ни обиды, ни ревности. В нем был чистый, незамутненный ужас. Предсмертный ужас. Ужас человека, заглянувшего в глаза самой смерти. Этот вскрик был подобен удару хлыста, рассекшему тишину его нового, эмоционального мира. Он был настолько сильным, настолько концентрированным, что на мгновение перекрыл все остальные сигналы. Дмитрий стоял посреди улицы, дождь стекал по его лицу, а он напряженно вслушивался в невидимый хор города, пытаясь снова поймать этот исчезнувший звук. Но все было тихо. Только эхо его собственного страха, смешавшись с тихой печалью старухи, отдавалось в висках частым, тревожным стуком. И это молчание было страшнее любого крика.

Дар пустоты, наполненный чужой жизнью, сделал свой первый шаг. И шаг этот вел его прямоком в сердце тьмы, о существовании которой он до этого момента даже не подозревал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.